

Александр БАЛТИН

ОБЗОРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

I. ТАЛЛИНН ДЕТСТВА

Важно — пышная, высокая и монументальная — шествовала по каменному перешейку между двумя домами: огромным, коммунальным, где жил на первом этаже мальчишка с молодыми папой и мамой, и другим, чья начинка так и осталась неизвестной — учреждение, вероятно...

Её звали Лия Наппа, эстонка, приехавшая в гости в Москву, и, пройдя перешейком, подойдя к последнему подъезду, обратилась к ребёнку, игравшему на улице с вопросом, изменённым акцентом. Он ответил. Он не знал её — оказалось: она приехала к ним.

Кислоты времён, действующие усердно, разъедают память; но осталось благородное удивление тем, как она ела: эстетски, аккуратно и изумительно работая ножом и вилкой; мы тогда едали попроще.

Фейерверк фотографий отца: Прага, Брно, тонкие изгибы таинственных улиц, странно мерцающая, непривычная для Москвы черепица, соборы, возносящиеся так, будто взлетят сейчас, преследуя неизвестную цель, монументальные памятники королям и героям...

Отец познакомился с Лией в Праге, в командировке: она химик, он физик, бездны СССР не подразумевали активных зарубежных вояжей, и Прагу ту отец, влюблённый в путешествия, почитал за удачу.

Через сколько лет едем в гости к Лии.

Разумеется — того мальчика нет, он вырос, хотя и немного, он добрался уже до активной книжности, постепенно отгесняющей реальность на второй план; и Эстония, разворачивающаяся за окнами поезда, Эстония, предшествующая Таллину, поражает неизбывностью аккуратности — какой-то набожной, столь правильной, что другое отношение к яви не мыслится.

Была белая ночь. Дорога, которой добирались к Лии, жившей в колоритном доме пригорода, стёрлась, но помнится жёстко, как той же, непривычно-беловато разлитой ночью отправились гулять по старому Таллину.

Он встречал равнодушно: просто впускал в себя: столько всего видел, что приезд кого-то мало интересен. Улицы, сплетённые в причудливый орнамент: и жизнью своей — пришлого чужака — не расшифруешь оный. Он раскрывался каменными цветами домов, над многими из которых висели, поблёскивая железно, старинные цеховые символы: вот закрученный калач, а дальше — скажем, сапоги...

Ратуша серела, основательное арочное сквожение не подразумевало людей, а старый Томас, венчавший башню, был готов к любым переменам ветра. И — несмотря на ночь и малое количество публики, возле ратуши играл ансамбль старинной музыки: длинноодеянные молодые люди, почему-то казалось — студюзусы — использовали инструменты, названий которых ни отец, ни, тем более, мальчишка знать не знали...

Лия жила в пригороде с названием, которое потерялось в памяти ребёнка, так быстро ставшего взрослым, зрелым, пожилым...

Найди монетку в кармане с прорехой!

Дом в два, не то три, этажа, рассчитанный на несколько семей; квартиры просторны и потолки высоки; Лия-интеллектуалка, говорившая на пяти языках, и библиотека обширная на стольких же, и простоватый муж Яак — строитель: странный контраст.

И был пудель — великолепный, чёрный, гигантский пудель, курчавый и лохматый,

доброжелательный и игривый; помнится, Яак, сидя в кресле, держал, зажав плотно, кость с мясом, а пудель тщательно работал над ней, устроившись на ковре. Но имя собаки потерялось там же, где имя пригорода.

Комната, занятая нами с отцом, выходила во дворик; обеда Лия накрывала за обширным круглым столом и готовила постоянно: щедро по-русски... Ах, кексы её! Тут же впервые попробовал взбитые сливки: в Москве не было этой сласти. На каждую дольку порезанного кекса клался какой-либо фрукт, а сверху опускалась белопенная шапка сливок.

Суп из ревеня был непривычен, как ещё один десерт: сгусток манной каши, плавающий в ревеневом киселе...

Мясо тушилось. Рыба запекалась...

О чём они говорили с отцом? Мальчик мал — пятый, что ли, класс — он практически не общался с тётёй Лией, обсуждавшей с папой... то Прагу, то Москву, то литературу: мальчик слышал, живя уже ею...

...Потом — в отличие от имени пригорода и пуделя — никогда не забудется тюленёнок из зоопарка: только он и помнится — ярким вымпелом памяти трепещет на экзистенциальном ветру...

Меняли воду в большом — впрочем, по московским меркам, не особенно — бассейне; меняли воду, и тюленёнок, сияя мордочкой, явно улыбаясь, забирался, смешно переваливаясь и опираясь на ласты, по своеобразному пандусу, чтобы... кажется, сейчас воскликнул бы что-то от восторга! — скатиться на лаково блестящем пузе, и, плюхнувшись в воду, снова подниматься, улыбаясь...

Такой золотой жизненный наплыв можно испытывать только в детстве.

Серо-стальной рябью течёт залив, и порт работает, как муравейник.

Ангел, возносящий крест: памятник погибшим морякам.

Кадриорг, томно и нежно колыхавшийся зеленью.

Бар в крепостной стене: откуда — море черепицы, и сок пьётся особенно вкусно.

Дверь в собор открывается туго: не дверь она — целые врата, и поглощает огромное, чистое и пустотелое пространство, и синеватое обилие скамей напоминает волны.

Музей музыкальных инструментов растворился волшебною шкатулкой.

В группе мы с отцом были единственными русскими, и пожилая, изящная и строгая, седовласая эстонка вела экскурсию на двух языках.

Густо гудела волынка, напоминавшая внутренний орган какого-то неведомого животного; а как плыл звонкий менуэт!

Музыкальных шкатулок никогда не видел до этого... хотелось потрогать танцующих кукол.

Картинки слоятся, глубоко впечатанные в память.

Лия предложила на дачу к ним поехать: местечко называлось Вызу и отличалось такой аккуратностью, что ребёнок, вспоминая шестисоточное калужское царство близких калужских родственников, поражался и поражался.

Мол вдавался в залив: внизу обородатевший струящейся травой, он представлялся вечным; а лесное великолепие другого берега зубристо вонзалось в небо.

Яак — рыбак, привёз, уйдя на моторке в зону залива, много рыбы, и пегая кошка, получив свою, съела её целиком: с костями и позвоночником.

Бродили с отцом; гуляли, вышли к церкви: чёрной и закрытой; сквозь стрельчатые окна едва угадывалось содержимое.

У кладбищенского входа два ангела переливались чёрным, лаковым камнем, а само кладбище отличалось набожной аккуратностью...

Всё — по линеечке.

...отмеряйте по ней мелькающие годы и данные для того, чтобы прийти к смерти.

Подниматься в верхний город интересно: лестница щедро, не обманет.

Было нечто игрушечное в устройстве домов, нравилось глядеть вниз, воображая... рыцари сейчас проедут, искры полетят из-под копыт, стучащих по брусчатке...

Ничего игрушечного не предлагала Домская церковь: много захоронений, плиты под ногами, покрытые письменами, тёмные гербы на колоннах и стенах... курчавый св. Маврикий.

Мраморный блеск старых немых гробниц.

Лия повела к подруге художнице: мастерская была в подвальном помещении: впрочем, только называлось подвальным: всё оборудовано аккуратно и красиво.

Помнятся восклицания, разговоры взрослых, подаренные две маленькие картины:

на одной — сочно выписанные анютины глазки, горящие ранами цвета, мазки, идущие от Ван Гога, на другой — лиловые ирисы.

Картины долго висели в Москве на кухонной стене.

А это — русский букинистический: вход с торца дома, в старом городе, и дом — трёхэтажный, под черепицей, конечно.

И вот отец, увидав литературную энциклопедию, воскликнул:

— Ну надо ж, в Москве не могли купить...

С лошадиным лицом и длиннорылой, но вполне дружественной улыбкой продавщица спросила:

— Давно ищите?

— О да, — довольно ответил отец, потирая руки.

Тащили девять томов — тяжёлых, коричневых, столько листанных-читанных потом.

Потом...

Отец умрёт так рано, что не представить, не вообразить сие тогда, в Таллине.

Мама какое-то время будет переписываться с Лией... Узнает о смерти Яака, собаки... Потом всё прервётся.

Таллинн останется со мной — мальчишкой, упорно не желающим вырастать, хотя и подходящим формально к старости.

Таллинн останется со мной — невероятным ощущением таинственного счастья, гнутыми улицами, наплывом и напластованием рыжей черепицы, тюленёнком, так чудно улыбавшимся в бассейне.

II. БЕДНЫЕ ХВАСТОВИЧИ

Хвастовичи, в просторечье — Хвосты...

...свисают откуда-то, и если приехать ночью, на автобусе, то площадь, блестящая под фонарным светом, кажется лысой: как Ленин, серебриющийся в темноте, не пожелаю низвергнуть.

Гостиница, наименованная по имени речки — Велья, двухэтажная, и с женой договорившаяся консьержка встречает, пока муж, зевая, пялится по сторонам, думая, что здесь даже не провинция... а что-то затаённое, спрятанное ею за пазуху.

Хвастовичи...

В холле, в массивной кадке разлапистое дерево, лестница на второй этаж одышливо скрипит, а номер достался четырёхместный. Почему? Не ответить, ведь гостиница практически пуста.

Номер просторен — четыре кровати, высокий потолок, и когда муж, я то есть, подошёл к окну и пожелал открыть, туго согласилось, неохотно: давно не тревожили, поди...

Толстая берёза напротив: виден только фрагмент: вершина уходит альтернативными корнями в слоистую летнюю тьму, а письмена коры не разобрать, как всегда... Может, они, промелькнуло в дремном мозгу, и сообщают нечто наиважнейшее?

Напротив ещё — частные домишки, как и всюду в провинции, но заборы справные, без покачки...

Завалились спать...

Утром, одолжив у консьержки — нет, решительно не подходящее слово! уж лучше — служительницы — кипяильник, пили чай с бутербродами, какую-то простецкую снедь с собой захватили; потом пошли исследовать Хвастовичи...

Собственно в плане исследовательском: всё небогато, и если кто-то возжелал бы писать «Хвастовичевские хроники», столкнулся б с трудностями — ничего не происходит: негде.

На площадь выбрали быстро: пруд мерцал за пёстрыми рядами торговых палаток: скромных — от затаённой зависти к столичным вавилонам торговли; мерцал, гладко-зеленоватое отсвечивая; на другом берегу возились мальчишки, не то купаться собираясь, не то карасей удить.

С палатками перекликаются с другой стороны площади — горуправа, возле которой бродят непуганые куры, почтают, ещё какие-то сероватые и зелёные здания; а улица — кажется, одна, тянет мимо собора...

Собор лечат: с него снят купол: он лежит на земле, на боку, и солнце, трогая его пальцами длинных лучей, превращает в ядро, которым никогда никто не выстрелит.

Улица с редким автомобильным движением — куда ехать-то? сиди за забором, возись в огороде, розы расти — тащит вверх.

Ничего интересного: накрошено небесной силой однообразных частных домишек,

нарезано заборов, чётко разделяющих пространство, и вот — ещё одна церковь: из кирпича сложенная, школу скорее напоминающая, бело-красная, закрыта...

— Назад пойдём? — предложила жена.

— Ага, — согласился муж, я то есть...

В обратной последовательности разматывая дорогу, вышли к площади с Лениным: он такой же, как ночью, а она — несколько иначе выглядит белым днём.

Кинотеатр обнаружился, потом — ярусами поднятые клумбы, красиво исполненные.

Представился озеленитель: мужичок, кряхтяще-курящий, вечно под мухой, с коричневым, морщинистым пергаментом лица; но цветы любит, говорит с ними — живые же...

— Когда ты встречаешься со своей?

Жене надо было обсудить кое-что с институтской одногруппницей:

— Сейчас позвоню...

Ну да, встречались, я стоял у машины, курил, глядя то в бледноватый небесный раствор, скуку проливающий в душу, то на заборы, сереющие активно...

— Договорились?

— Да нет, здесь вряд ли получится: не пойдёт торговля косметикой. В музей исторический при школе хочешь?

— А есть?

— Ага.

— Ну пошли.

— Давай пообедаем сначала.

Для едовых нужд подошло скромненькое кафе, приткнувшееся к гостинице, и сто грамм, остро принятые перед борщом, вызвали лёгкий приступ вдохновения.

В садике, уютном вполне, ждали хранительницу музея; школа за спиной была нестандартна внешне: ждал типовой вариант, советский.

— А, вот она, наверно! — жена махнула рукой в сторону маленькой, спешащей женщины с сумкой.

Да, оказалось — она. Маленькая, подвижная, как ртутный шарик, легко говорящая, доброжелательная; а лестница внутри школы велика, крутобоки ступени, с яблоч пример берут.

Пошла экспозиция: портреты, портреты, документы, знамя, обожжённое войной, пулемёт разбитый, каска с вырванными кусками, монеты — но банальные, теснящиеся рядками...

Фотографии, фотографии, прожелтью тронутые, кислотой времён залитые.

— Небогато у нас, — повторяла маленькая женщина, светясь радостью от посещения московских гостей...

— Почему? Очень всё мило, — говорила жена, а хранительница уже показывала маленькие фигурки солдатиков: оловянные, цветные.

— Ребята делают, любят музей наш, стараются...

— Молодцы.

— А на источник поехать хотите? — вдруг спросила женщина.

...как звали тебя, хранительница? Размыли годы память...

Мы согласились, договорились о времени.

Везли туда, ехать недолго было; и дёбрь расступалась, гущей зеленея, тяжёлая, слоистая, листья такой поразительной густоты...

Воду набирали, ломала зубы, холодная, словно из древних, древних даже, времён бьющая...

Муж, то есть я, купил потом чекушку, понимая, что будет мало, и когда забрались в гостиницу, стал пить потихоньку — под пирожки и колбасную нарезку, приобретённую на обратной дороге.

Пил, расступалась радуга ассоциаций, замшелые каменные мосты парили в воздухе, и возникавшие в сознании золотые львы Византийской империи словно сообщали, что и ромейские провинции были такими же — низенькими, скупыми на богатство.

А ночью на площади гуляла молодёжь, не замеченное возле кинотеатра кафе струилось музыкой и огнями, жарко было, весело, сын одногруппницы жены, поддатый, подошёл, разговорились.

— Да скоро не будет их, Хвостов, — утверждал. — Все разбегутся отсюда. Нечего здесь делать...

Бедные Хвосты! Съедятся, усохнут от безлюдья...

Утром шли по мостку над Вельёй, хотели купить творога и мёда перед отъездом: маленькая, спокойная речка, и такую богатою зеленью брызгали и перекипали берега её, что никакого другого богатства и не нужно.

III. ЧЕЛОВЕК ВЫРОС

Анапа, открывшаяся с шести лет, когда посоветовал гомеопат Ефуни, весь круглый и румяный, возить туда ребёнка: чтобы не надо было удалять гланды...

Соль и йод...

Такси увозило вечером, промахивало каменный перешеек между двумя домами, в одном из которых, огромном, жили в коммунальной, роскошной, необъятной, казалось, квартире, и, стремительно разматывая ленты города, везло на вокзал; и наваливался он всегдашней суетой: в чём-то праздничной.

...Испугался медведку: выходил из купальни и увидел что-то жутковатое, многолапчатое, казалось, с хитиновой складчатостью, выбирающееся из земли. Звал маму...

А дорога была — два дня в купе, и верхняя полка сама уже казалась чем-то невероятным: чуть свесившись, ребёнок глядел в окно: а там убежали, противореча движению вперёд, городки и мосты, горы и леса, вся шикарная, пёстрая разность мира.

Жили в частном секторе: беседка, увитая плющом во дворе, резные тени на столе...

Здесь завтракали и ужинали: много снеди везлось из Москвы: твёрдые батоны колбасы, различные консервы.

Обедали всегда в столовой, и в тарелке опалового молочного супа медленно таял жёлтый завиток масла.

На второе? Возможно, и всё равно: не ради же этого раскрывалась Анапа?

Она раскрывалась бесконечно бездной сияющего и блистающего моря, каждый блик — как улыбка; она раскрывалась песчаной массой пляжа, ещё безлюдного утром, топчаны стояли, деревянные грибки, но ребёнок, быстро раздевшись, бежал к воде, уже наученный отцом плавать; он бежал... потом замирал, останавливаясь у кромки, где в белой пене перебирались боком маленькие, бело-прозрачные крабики, легко схватит было, но — отпускались тут же, царапающие клешнями пальцы...

Вода расступалась. Через несколько метров становилось глубоко.

Соль и йод сверкали, насыщая воздух, и великолепную солёную воду нравилось втягивать в себя, так же как нырять.

Так, в зеленовато-синем подводном мире проплывали стайки морских коньков, вертикальные и деловитые, мелькали жёсткие, кожистые рыбы-иглы, а под камнем, держащим буёк, мог обнаружиться большой краб — серьёзно поднимал клешни, словно предупреждая: не тронь...

Солнце разгоралось.

Снедь доставалась... лёгкая рыночная снедь: абрикосы, черешня, соки, газировка...

Были маленькие фонтанчики на пляже: можно, наклонившись, напиться прохладной, пресной воды.

Море заполняло всё...

...Такие же фонтанчики будут в Несебре, на перекрестиях улиц, на маленьких... даже площадях не назовёшь, и всё же...

Из высокого кафе, где сидели с мамой, обедая (ребёнок превратился в подростка), видно было море такой прозрачности, что водоросли, которыми оброс крупный камень, словно струились совсем рядом, и тела купающихся, несколько видоизменённые водой, видны были до деталей.

Жили в Софии: белевшей Софии, летне-нежной, жаркой, интересной; жили у деда Бори: очень дальнего родственника (точную степень родства больше узнать не у кого), бежавшего в семнадцатом — кадетом был...

Он осел в Болгарии, в отличие от большинства соратников, женился, родил двоих детей... Работал, меняя рабочие профессии: интеллектуал-гуманитарий, говоривший и читавший на двух языках, не нашедший места в софийском гуманитарном сообществе, соблюдавший в однокомнатной, но довольно большой квартире какую-то набожную чистоту и аккуратность.

Он же водил по столице. Страшно было в церквях, непривычно: высокие ярусы изображений смотрели скорбно, отрицая жизнь.

Церковь св. Неделки. Нагромождение исламских куполов, словно придавливающих к земле собор Александра Невского...

Мальчишку в Анапе практически каждый вечер водили в кино; когда был совсем маленьким — в кукольный театр: представления давались под открытым воздухом, и роскошный поздневечерний бархат тёк, переливаясь.

А кино всё — приключенческое, иностранное, про ковбоев и индейцев, больше, чем в Москве, было...

В Болгарии столики кафе ставились на асфальте — так непривычно; ходили с мамой в магазин «Нумизмат», мальчишка-подросток увлекался монетами, и какой-то ловкий, вёрткий парень подмигнул... Понятно было — выйдя за ним, оказались через несколько шагов под аркой, и предложил тут несколько сияющих, крупных болгарских монет. Мама купила...

У Виктора и Петки (Виктор — сын деда Бори) ужинали роскошно: как красиво накрывался стол, и на тарелках всё укладывалось эстетически выверенно; а потом поразило особой сладостью варенье из смоквицы, прозрачно-зелёное, необходимо запивать водой.

Виктор же возил в Рильский монастырь: винтами нарезала дорога, и открывался он: весь в зелени, обращённый в музей, с черепицею...

Анапа... Болгария... Волшебные Несебр, Созополь, неповторимые дома, быт которых было так интересно представлять...

Мальчишка и подросток, давно объединившиеся в пожилого человека, нигде больше и не бывавшего, просыпаются в недрах сознания и, наперебой делясь впечатлениями, сильно заставляют сожалеть, что... человек вырос.

IV. ДРЕВНОСТИ МЕЛЬКОМ

Фаберлик, сильно раздобревший финансово, устраивал пышное мероприятие — в одном из современных дворцов развлечений, несть им числа; всё огнями переливалось, в холле демонстративно делали модные причёски, и дамы, посверкивая очами, чернея алчно свежеобработанными волосами, бросали зигзаги античных молний в костюмных, авантажных господ; лютовала музыка, и представление развернулось на сцене такое, что тебе, пожилому, не видящему смысла в пустых и блескучих шоу, хотелось поскорее свернуть его рулоном: чтобы отправить в помойный контейнер забвения...

Отсюда — прямо из дворца — двинулись к автобусам, что повезут во Владимир, потом в Суздаль.

Женщины в основном: у них лучше получается торговать косметикой, на которой специализируется Фаберлик; несколько мужей, я в том числе; и людские водовороты, возникшие в сумеречно-пепельном, московском, осеннем свете у автобусов, препятствовали быстрому наполнению...

Жена болтала с коллегами-подругами, а мне не с кем было, я курил без конца, давно уже воспринимая сигарету как беседу. Без слов.

Без слов же началось движение автобусов, ждавших своего соло терпеливыми механическими животными — быстро промелькнувшая Москва сменилась множественностью лесов, бегущих в обратной последовательности ко рвущемуся вперёд движению.

Провинциальные городки проявлялись, врываясь в пассажирскую дрёму, площади показывали крутые бока домов, и снова тянулись леса: лентами, испещрёнными письменами.

Гостиницы во Владимире оказались высокими, многоэтажными, и прибывшие ждали команды выходить: сопровождающий группу очевидный подполковник в отставке, долговязый и длиннолицый, проявил вежливую тщательность...

В общем, все уже у гостиниц; потом, следуя логике снимаемого фильма жизни — внутри.

Номера... обычны: других и не ждал.

Онтологическая банальность этих номеров! Обыденность спанья и перекуса, полотенца в ванной, не сворованные пока, я и не собирался, шкаф, смотрящий так хмуро, будто он философ-мизантроп.

Я стоял у окна, и темнота, отливавшая розовато, неохотно показывала соседние гостиничные корпуса: долговязые, как поскучевшая Троя.

Следующее утро началось с кропотливо-сытного завтрака, причём оказалось, что в ресторане бильярдные столы, спело зеленея сукном, стоят своеобразно среди столов обычных...

А экскурсоводку звали ласково — Ягодка: нет, обращались по имени-отчеству, а это фамилия была такая — как выяснилось потом.

И говорила влюблённо: про Ополье слушалось фрагментами, поскольку, погружённый в себя (какие ответы погружения продиктуют следующий текст?), редко воспринимаю большое количество устной речи; но — замелькало оно, Ополье, гордясь ласковым вечным именем своим...

По городу экскурсия: и неутомимо, разглядывая те или иные панорамы, думалось, насколько похожи провинциальные виды: все они переливаются родной Калугой, все

они тянутся к рекам, всюду не по-московски сереет разбитый, залатанный асфальт, а что показывали во Владимире, где высаживались, стёрлось в основном...

Нет, ярко и яро возникают соборы: величественная их белизна, к которой надо добираться лестницами; и, совмещая фантастические кристаллы веры-архитектуры со своеобразием внешности неземных космических кораблей, впускали в себя, раскрываясь росписями; и рассказывала, рассказывала Ягодка... в том числе, про Андрея Рублёва.

А фреска смотрелась тускло.

...Среди полей идёт богомаз Андрей, копя в себе образное счастье потустороннего мира.

Ягодка же была кругла: словно соответствовала фамилии: кругла, очевидно, добра, и речь сияла той гостеприимной ласковостью, которая запоминается...

Ждал Суздаля — древнего шелома, зачерпнуть им космической влаги, ждал соборов его: бело-жёлтых, сиятельных, старины подземной, монастырской, ныне музейной, неровностей земных рельефов, всего этого древнерусского вороха и — той площади пред собором, где плясал тупо-счастливый Бальзаминов-Вицин...

Всё так и оказалось: стены взлетают высоко в небеса...

Суздальский кремль горел сгущённой пятиглавой, соборной синевой; невелик территориально, что и ожидалось...

История кончилась, оставшись архитектурными фрагментами, но у Ягодки в запасе имеется столько славословий...

Недалеко от долго дрящущихся каменных стен шустрые, хозяйственные бабульки торговали пирожками — тёплыми, как котят, и суздальской медовухой, залитой, как тайна алхимии, в обыкновенные пластиковые бутылки.

Все покупали, ели пирожки тут же, хлебали лёгкую брагу из кривоватого горлышка.

Долго шли ко Храму Покрова на Нерли: сияла синей роскошью излуцина речная, и синеватый столп света поднимался от храма, высоту низводя на землю, давая представление о небесных странах тем, кто хочет видеть...

Чудесные звери на стенах — тоже...

Давид-псалмопевец, больше похожий на скомороха, немо исполняет медоточивые, скорбные псалмы, а львы и грифоны, вышедшие из сфер средневековья, слушают расслабленно, ничем не грозя... Впрочем, чем могут грозить грифоны, которых не существует?

Вот и всё — собственно.

А — ещё был фаберликский банкет: роскошный, многолюдный, с каким-то лихим хором, с танцевальной группой, яро работавшей шашками, с ломящимися столами, когда соком истекающая сёмга будто перемигивается с огнями красной икры, и не знаешь, куда потянуться вилкой: к буженине или слезящемуся жиром сервелату... В общем — был шумный и пёстрый, и пьяный банкет: со всей прелестью, предшествующей отчаливанию туристов, на миги соприкоснувшихся с другими городами, ничего не понявшими в душах их...